



Борис

Васильев

МОЯ ВОЙНА

Страшное лето 1941-го



Моя война

Борис Васильев

**В окружении.
Страшное лето 1941-го**

«Алгоритм»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Васильев Б. Л.

В окружении. Страшное лето 1941-го / Б. Л. Васильев —
«Алгоритм», 2017 — (Моя война)

ISBN 978-5-906880-21-5

Борис Львович Васильев – классик советской литературы, по произведениям которого были поставлены фильмы «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Завтра была война» и многие другие. В годы Великой Отечественной войны Борис Васильев ушел на фронт добровольцем, затем окончил пулеметную школу и сражался в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Главное место в его воспоминаниях занимает рассказ о боях в немецком окружении, куда Борис Васильев попал летом 1941 года. Почти три месяца выходил он к своим, проделав долгий путь от Смоленска до Москвы. Здесь было все: страшные картины войны, гибель товарищей, голод, постоянная угроза смерти или плена. Недаром позже, когда Б. Васильев уже служил в десанте, к нему было особое отношение как к «окруженцу 1941 года». Помимо военных событий, в книге рассказывается об эпохе Сталина, о влиянии войны на советское общество и о жизни фронтовиков в послевоенное время.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906880-21-5

© Васильев Б. Л., 2017
© Алгоритм, 2017

Содержание

Моя семья	6
В Смоленске	20
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Борис Васильев
В окружении. Страшное лето 1941-го

© Васильев Б. Л., правообладатели, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Моя семья

Ни отец, ни мама никогда мне ничего не рассказывали о себе. Ни о своем детстве, ни о своей молодости. Они исходили из главного принципа того времени, когда я был ребенком: чем меньше я буду знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь. Зато бабушка и моя тетя Таня кое во что меня посвящали, и я – запомнил.

Я знал, что мой отец – офицер царской армии, закончивший курсы прапорщиков где-то в самом начале 1915 года и – уже на фронте – дослужившийся до поручика. Знал, что его отец умер вскоре после его рождения, оставив четверых детей: двух сыновей и двух дочерей. Старший сын традиционно готовился к военной службе, моему же отцу был предоставлен выбор. Закончив городское училище, он возмечтал было об университете, но мечта эта так мечтою и осталась, поскольку не была подкреплена соответствующей экономической базой. Впоследствии отец жалел, что не рискнул тогда учиться на собственный заработок (уроки, переписка и тому подобное), но в то время он еще болел крапивницей сословных предрассудков. Дескать, мы бедные, но гордые, и прочая ахинея, вбитая в юные головы и искалечившая немало судеб. Потом-то он от нее излечился, поскольку окопная грязь, вши и немецкая артиллерия действовали на дворянские недуги куда интенсивнее пресловутых заграничных вод. Но тогда, за четыре года до начала предписанного историей курса лечения, батюшка подался в школу прапорщиков.

Отцу суждено было прожить на свете 76 лет и два месяца: в отличие от большинства сверстников, ему повезло. Каскад из трех войн унес из России такое количество душ, что их вполне хватило бы для освоения небольшой планеты в соседней Галактике, а ведь кроме войн были и мирные периоды, во время которых с душами обращались избирательно, следуя правилу: «Пуля – дура, да расстрел – молодец». Целеустремленное проведение в жизнь второй половины этого правила во дни мира, а первой – в дни войны практически ликвидировало последние остатки русского потомственного офицерства, и после заключительного каскада – Великой Отечественной войны – отец представлялся мне экспонатом Красной книги с горестной пометкой: «Встречаются отдельные экземпляры».

То, что отец уцелел, несмотря на немислимое количество обрушенного на него во всех трех войнах металла, удивительно, но не парадоксально. Парадокс в том, что, начав самостоятельную жизнь со спесивого нежелания самому зарабатывать на обучение, батюшка к концу ее знал столько ремесел, сколько мало кто знает. Он мог срубить дом и сложить печь, починить телевизор и сапоги, исполнить любую столярную работу, капитально отремонтировать автомашину, подковать лошадь, переплести книгу... Нет, я не в состоянии перечислить всего, что он умел делать, потому что он умел делать все. И делал все и для всех, ибо не обладал удобной способностью отказывать кому бы то ни было в просьбе, старомодно полагая такой поступок неприличным. В 1969 году – через год после его смерти – мы с сестрой вздумали почистить печь на отцовской даче. Домик – крохотный, в 18 квадратных метров – был выстроен отцом от фундамента до конька, а печь – чудо-печь, нагревавшая дом считанными поленьями! – сложена его руками. Мы ухлопали на эту операцию весь день, разворотили полтрубы, но печь упорно продолжала дымить.

– Молодцы мы с тобой, – сказала сестра, в бессчетный раз присев передохнуть перед новым отчаянным штурмом непокорного устройства. – Отец ее один сложил, а мы вдвоем вычистить не можем.

– Так то – отец, – вздохнул я.

Теперь-то я понимаю, в чем дело: нам сопротивлялась сама печь. Когда умер отец, она начала дымить, дом – скрипеть, неожиданно перекосялся стол во дворе, и сам собою обру-

шился колодец. Созданные мастером изделия не хотели жить без него, потому что он вкладывал в них свою душу.

* * *

У меня сохранилось очень мало фотографий отца, а относящихся к Первой мировой и Гражданской войнам нет вообще. История их исчезновения могла бы послужить сюжетом, отображающим не только время, но и сопутствующие ему страхи. Это очень любопытная тема: исследование взаимодействия и взаимовлияния страхов и времени, – но она вполне самостоятельна, а посему пока отложим ее. И примем как данность, что из всех фотографий времен отцовской молодости чудом уцелели две в семейном альбоме его сестры Марии Александровны Денищик, женщины самостоятельной и отважной. Но даже ее отвага не смогла сохранить фотографий поручика-брата, уклончиво оставив его для памяти в гражданском костюме, правда, такого качества, которое в тридцатые годы тянуло на добрых десять лет общего режима.

На этой фотографии («Собственное дело Горбачева Н. М. Смоленск, Кадетская № 17») батюшка на фоне расплывчатых руин застенчиво попирает локтем утес из папье-маше. Добрые глаза его смотрят с невероятным молодым напряжением, а роскошные, любовно ухоженные усы просто обязаны заверить нас в его неотразимой мужественности. Разглядывая этот снимок, я пытаюсь отвлечься от осознания, что на нем запечатлен мой отец. Я пытаюсь увидеть молодого человека времен заката царской России, не крестьянина и не торговца, не социалиста и не монархиста, не слишком образованного, не слишком терзаемого совестью, не слишком размышляющего над судьбами Отечества. То есть абсолютно нормального, здорового двадцатилетнего молодого человека из провинции. Он кое-как и кое-что болтает по-французски, играет для дам на гитаре, а для себя – на мандолине, поет цыганско-гусарский репертуар, развлекает декламацией модных стихов, а развлекается за карточным столом. «Общество» для него – арбитр элантиерум, мода – символ веры, вечера, балы, пикники и карнавалы – апофеоз существования. Дыра в башмаке равносильна катастрофе и уж, безусловно, страшнее дыр в семейном бюджете. А там их в избытке, и провинциальный юнкер, не подозревающий, что кончит он свое земное существование коммунистом, вертится волчком, чтобы удержаться на скользком паркете губернского города Смоленска.

Таково содержание первой фотографии. На второй отец изображен на фоне тех же руин, но рядом стоит очень изящная молодая дама. Это – моя будущая матушка, а посему разглядывание второго семейного снимка отложим до соответствующего места. Все хорошо в свое время, а особенно – фантазии на семейные темы.

Я люблю рассматривать старинные фотографии. Люблю толстый картон, который не сворачивается в трубочку, подобно пересохшему сыру. Люблю неторопливую, обладающую глубоким смыслом ретушь. Люблю серьезность – серьезность мастера, который никуда не спешит, наводя на фокус, и серьезность объектов его мастерства, которые встали перед объективом не потому, что случайно проходили мимо. Люблю детскую наивность рисованных замков, утесов и пальм. Люблю, наконец, полновесность серебра, до сей поры хранящего изображения. Серебро – не просто благородный, а единственно благородный металл, ибо только оно обладает человеколюбием, убивая болезнетворных микробов и увековечивая людей. Цвет серебра изящен и аристократичен: недаром мы сравниваем с ним седину, достойную почитания. Серебро воспитанно и художаво, в отличие от крикливого и жирного золота, залившего весь мир кровью и ничего так и не давшего человечеству взамен. Золото оскорбительно своей демонстративностью: лишенное скромности и внутреннего такта, оно способно лишь вопить о кошельке владельца. Рот, набитый золотом, с детства воспринимается мною как пасть скоробогатея. Да,

да, того самого буржуя, презрение к которому было привилегией нашего голодного, разутого и раздетого Отечества, единственной, но до чего же гордой привилегией!

Серебро исчезает: тот, кто работает на человека, всегда сжигает себя. А вот количество золота в мире неуклонно растет, но люди не становятся богаче от того, что оно растет. Когда человечество уразумеет, наконец, эту простую истину, оно шагнет вперед сразу на два порядка. Однажды мы пытались доказать это миру, но то ли мир не понял нас, то ли мы мир не поняли, то ли доказательства были не слишком доходчивыми, а только набитые золотом пасти по-прежнему зевают мне в лицо из-за каждого прилавка. И я горжусь тем, что на старой фотографии отца нет никакого золота. Есть только благородное серебро, сохранившее для меня его дорогой облик.

Я видел, как этот сохраненный серебром облик сгорал в пламени печурки в старом смоленском доме на Покровке. Моем первом доме земного бытия. Доме, где я учился узнавать своих родных, ползать и говорить первые слова. Это был лучший Дом на земле, поверьте, я уже старше собственного отца и успел сменить множество домов. Там жила не только сама Гармония, но и ручная белая крыса без хвоста, аккуратность которой за столом – мы с ней вместе завтракали, обедали и ужинали – мама всегда ставила мне в пример.

Так вот в этом замечательном доме было то ли холодно, то ли я простудился, а только ночью я проснулся от озноба и увидел, как в раскаленном жерле печурки сгорают толстые дореволюционные паспарту, унося вместе с дымом облики запечатленных на их серебре людей. И я не удивился, я, как мне кажется сегодня, понял, что есть времена сжигания своего прошлого.

* * *

Через год после посещения «Собственного дела Горбачева» облик батюшки резко изменился: он надел военную форму, которую не снимал до своей кончины. Она словно приросла к нему, стала второй кожей, частью его существа и смыслом его существования. Судьба чуть было не напутала: солдатом родился отец, а не его старший брат Павел. Подчеркиваю: родился, ибо до тех пор, пока человечеству свойственно нападать и обороняться, оно будет поставлять солдат для самого себя, не полагаясь на волю случая, а программируя это традициями, обычаями, престижностью и девичьими вздохами о душах-военных. Мы застали еще – правда, уже на излете – те времена, когда служба Отечеству была столь же естественна, как забота о собственном достоинстве, и шпага считалась естественным продолжением руки. Но и при этом случались казусы, шпага оказывалась при младшем сыне, а не при старшем, как того требовал обычай. Так произошло с моим отцом, но история исправила ошибку: за десять лет до моего рождения новоиспеченный пехотный прапорщик отправился в окопы Первой мировой, успев, к счастью, жениться между выпускным парадом и погрузкой в эшелон.

Я убежден, что каждой человеческой душе нужна своя, единственная, ей присущая форма проявления, если рассматривать душу не как мистический символ, а как философское понятие, как ДУХ. Борения этого духа и есть поиски своей формы существования, но большинство так и не находит ее, и, следовательно, жизнь их не просто дисгармонична, не только судорожно перенапряжена, но и может считаться несостоявшейся, ибо их дух не нашел возможности выразить себя. Талант – я имею в виду его проявление, то есть действие, а не термин – и есть соответствие формы и содержания, а гениальный скрипач Ойстрах он при этом, заботливая мать или безымянный таксист, получающий наслаждение не от суммы чаевых, а от собственной реакции, ловкости и расчета, это уже не существенно. Мой отец, к примеру, воспринял военную форму как форму своего духа, и был прав, и был счастлив, ибо не знал ни зависти, ни неудовлетворенных желаний. Я особо подчеркиваю важность соответствия духа и формы его выражения, так как дух просыпается незаметно, и воспитатели детских душ должны быть чрезвычайно внимательны, добры и бдительны. Тенденция силой запикивать душу ребенка в

приятную, доступную, понятную или просто престижную форму приводит к внутренней трагедии во всех случаях без исключения. Проявление этой трагедии может быть различным – дерзость, грубость, открытая конфронтация со всем и со всеми, тартюфовское смирение или уголовное деяние, – но причина одна: покушение на детскую душу.

К великому моему счастью, батюшка мой обрел единство формы и содержания быстро, без особых терзаний и задолго – за десять лет! – до моего рождения. Таким образом, одно из слагаемых было заведомо гармоничным, но человек есть сумма двух слагаемых и разность двух векторов.

* * *

Отец мало и неохотно рассказывал о себе. Он чудом пережил три армейские чистки, бившие больше всего по офицерам царской армии, которые сразу или не сразу, а подумав и помучившись, добровольно или по призыву приходили в Красную армию. В конечном итоге их оказалось больше именно в Красной армии, нежели в Белой: по данным на 20-й год, их числилось в ней около 170 тысяч. Именно они и создали Красную армию гибкого трехчленного состава (три роты – батальон, три батальона – полк и так далее), что резко упростило управление, тогда как царская армия упорно сохраняла четырехчленный состав. Им принадлежит честь создания основной ударной силы Красной армии – ее стремительных конных армий – и принципиально иной, куда более современной тактики ее частей и соединений. И именно этих офицеров изгоняли из Красной армии в первую очередь.

В этом сказывалось не только недоверие к вчерашним золотопогонникам и даже не только застарелая, с молоком матери впитанная ненависть к дворянству. Они были профессионально требовательны к подчиненным, добиваясь беспрекословного исполнения приказов и неукоснительно строгой дисциплины, то есть именно того, чем всегда славилась русская армия. Это было в традициях русского офицерства, точно так же, как и забота о солдатах. Дедовщина в нашей армии возникла тогда, когда эти традиции были окончательно забыты. Офицеры-дворяне попали под тяжкий каток выравнивания социальной поверхности русского общества одними из первых. План уничтожения русской интеллигенции был запущен Сталиным сразу же по окончании Гражданской войны и действовал вплоть до его смерти.

В 48-м я сдал госэкзамены и сделал диплом в начале августа. Получил все требуемые отзывы от консультантов и заверения, что защищаться мне предстоит в начале сентября, и наша компания решила сходить в поход на Истринское водохранилище. Нас было пятеро – три девицы и двое парней. Мы сошли на станции Березки и пошли к водохранилищу. Пишу об этом потому лишь потому, что при пересечении деревень за нами бежали все местные ребятишки с воплями: «Девки в штанах!..», а деревенские дамы неодобрительно плевались вслед. Все относительно в мире сем, и мы к этому тоже относились спокойно.

Дней пять мы жили на берегу Истринского водохранилища в полном одиночестве. Грибов было много, мы ели их во всех видах, а потом двинулись к дому, потому что 31 августа был день рождения моей жены Зори. 29-го вечером мы с ней пришли в свою квартиру на Хорошевском шоссе и обнаружили записку: «Борис, твоя защита – в 10.00 30 августа». На следующий день я помчался на защиту, получил «4» и полуторамесячный отпуск и 2 сентября уехал к отцу на Сорок третий километр Ярославской дороги. Вот ради этого отпуска я и позволил себе совершенно ненужные отступления.

Отец решил пристроить террасу к домику, и я ему помогал по мере возможности. А попутно варил похлебку из мясных консервов на два дня и спускал ее в колодец, откуда мы ее и извлекали для очередного обеда, потому что жили вдвоем, и я не хотел, чтобы отец разрывался между работой и необходимостью меня кормить. Собирал грибы прямо на участке, который все еще оставался лесом, и варил их на закуску. Ходил в Зеленоградскую за хлебом и большой

ржавой селедкой, которую отец почему-то предпочитал всем иным (помнится, она называлась каспийской). Раз в три дня нам приносили молоко из Горелой Рощи, но это – для завтрака, потому что еще были куры. Штук семь, что ли, во главе с задиристым петушком. Перед обедом мы с отцом непременно выпивали по две рюмочки, и нам вполне хватало бутылки на два дня. После обеда отец, как правило, заваливался на часок поспать, а я бродил по соседним перелескам, прихватывая что-либо полезное для нашего хозяйства. Сухой ствол, к примеру, или какую-нибудь смешную корягу.

Мы мало разговаривали с отцом: на работе не поговоришь, да он и не был особо разговорчивым человеком, хотя в детстве мы всегда гуляли с разговорами. Но то было еще ДО разгрома Сталиным офицерского корпуса Красной армии, в котором отец уцелел истинным чудом. Накануне мая 37-го года его послали с инспекцией в Якутию и на Дальний Восток, там он оказался посторонним, а когда вернулся, аресты командного состава резко пошли на убыль, и отца перевели в Воронеж, куда мы и переехали. ДО – и это ДО весьма на него повлияло: он вдруг стал неразговорчивым. Вечерами мы оба читали – отец еще только начал собирать собственный телевизор и в конце концов сделал его. А тогда много читали при свете керосиновой лампы, пока нам наконец-таки не провели электричество. Но один вопрос меня мучил давно, и как-то я задал этот мучивший меня вопрос. За обедом, после рюмки:

– Объясни мне, пожалуйста, как это ты, командир роты, поручик, золотопогонник, перешел вдруг на сторону большевиков?

Я тогда, помнится, налил ему картофельной похлебки, поставил перед ним тарелку, но он – закурил, хотя по негласной договоренности мы курили после первого, а не до него. И сказал:

– Видишь ли, Борис, в России офицеры присягали не народу, не родине, а – Государю. И когда Николай отрекся от престола, а его брат Михаил отказался от короны, русские офицеры оказались свободными от присяги. И каждый поступал согласно своим представлениям о будущем России.

– И многие решили стать большевиками?

– Дело не в большевиках, дело в семьях. Фронт был огромным, три тысячи верст, а царский офицерский корпус – из центральных губерний, как правило. Московская, Смоленская, Рязанская – старые дворянские гнезда. А там – советская власть. Вот русское офицерство в основном и подалось к семьям своим. Многие просто отсидеться надеялись, а тут – призыв офицеров в армию. Вот так и пошли. По мобилизации.

– И ты – тоже?

– Я? Нет. Я на фронт прибыл субалтерн-офицером, взводным фендриком. В бою на Болимовском выступе – это под Варшавой – германцы применили хлор. Я нахлебался, сознание потерял, солдаты вытащили. У фронта – свои законы. Я рукоприкладством не занимался, из общего котла ел, как все, они меня за своего и считали. Письма неграмотным писал, портянки теплые для солдат пробивал. Солдат все видит, его не обманешь. И когда в семнадцатом рота постановила, что будет за большевиков, я им сказал: «Я – с вами». Все куда проще, чем об этом потом стали писать. Война – это не пальба да атаки, сам знаешь. Война – это быт. Ненормальный, но – быт. По нему и судят об офицере.

– Это тебе помогло?

Отец пожал плечами:

– Жив остался.

Я написал это и взял в руки старую, выпущенную еще в начале века безопасную бритву «Жиллет»: когда-то мама подарила ее отцу, который уезжал на свою первую войну. Я бреюсь ею и сегодня, и это – мое единственное наследство, не считая, разумеется, подаренной мне жизни. Отец пронес ее по всем своим военным тропам, дважды терял, но солдаты находили, и она опять оказывалась в его полевой сумке. Когда-то она была в фиолетовом бархатном футляре, но футляр где-то затерялся, а бритва жива и поныне. Когда я бреюсь, я испытываю

странное чувство причастности к жизни собственных родителей. Юная мама дарит уезжающему на фронт столь же юному мужу, в сущности, бесполезную вещь: на фронтах не продают безопасных лезвий. И отец таскает этот бесполезный подарок по всем фронтам в своей полевой сумке...

Странные люди жили в начале века. Люди, умеющие любить и прощать. И завещали это нам, но мы растеряли этот дар в суете наших бессмысленных и бесконечных строительствах, обид, невзгод и невероятного накопления чисто обывательской безадресной злобы. Злобы против всех.

* * *

Моя матушка Елена Николаевна, урожденная Алексеева, родилась в том же, 1892 году, что и отец, но на четыре месяца позже – в июле. История юности ее отца и многочисленных дядюшек и тетюшек рассказана в романе «Были и небыли», где ее батюшка (мой, стало быть, дед) выведен под именем Ивана Ивановича Олексина. Я изменил фамилию реальных людей на созвучный псевдоним литературных героев только ради свободы романного маневра, поскольку мои предки по материнской линии оказались связанными с Пушкиным, Толстым и общественным движением XIX века, что могло вызвать множество уточняющих вопросов историков. Правда, все мои консультанты легко и просто в этом разбирались, лишь порою сердито спрашивая, откуда мне известна биография братьев Алексеевых. Но, выяснив, откуда, переставали задавать вопросы.

Однако вернемся в день вчерашний.

История далекого предка не сохранилась в семейных преданиях, уйдя, по всей вероятности, в другие линии Алексеевского рода. А вот историю своего дяди Василия Ивановича Алексеева – его американский эксперимент и дружбу со Львом Николаевичем Толстым – матушка все же мне рассказала, так как очень этим гордилась. По ее словам, ее отец Иван Иванович Алексеев активно участвовал вместе с братом Василием в кружке чайковцев, строил коммуны в американском штате Канзас по методу Фурье и был близко знаком с Л. Н. Толстым. Василий Иванович, как известно, не только стал первым толстовцем, истово уверовав в учение своего гениального друга, но и спас от забвения и уничтожения его «Евангелие», переписав рукопись Льва Николаевича за одну ночь перед ее отправкой в Синод.

...К толстовскому юбилею (150 лет со дня рождения) журнал «Дружба народов» предложил мне написать статью. Я начал ее, но показалось вдруг, что запутался, что не смогу осилить, осмыслить, и – оставил. А сейчас понял, что она – сумма моих детских, юношеских, взрослых, литературных и семейных представлений о великом писателе земли Русской. Возможно, они наивны, возможно – банальны, но они – мои, и я попытаюсь их изложить, поскольку корни моего особого отношения ко Льву Николаевичу заложены все-таки мамой.

Только сначала – маленькое отступление. Года два назад (если не больше) «Литературная газета» попросила у меня интервью. Я заканчивал роман, а потому боялся перерывов и отказал.

– Не отказывайте, Борис Львович. Интервью у вас хочет взять пра-пра... внук Льва Толстого.

Мы встретились с потомком графа Толстого, поговорили на самые разные темы, после чего он пригласил меня в Ясную Поляну на очередной ежегодный съезд всех прямых потомков Льва Николаевича. Я поблагодарил, но в сентябре он позвонил, напомнил о моем обещании и сообщил число, когда меня будут там ждать. Я вежливо отказался, сославшись на то, что встречи родных – дело семейное и мне как-то не совсем удобно нарушать обычай. Тогда мне позвонили из Ясной Поляны (кто-то из более старшего возраста), сказали, что приглашают меня официально, но я все же отказался. Внучатый племянник учителя старшего сына Льва

Николаевича, Сергея – это даже не седьмая вода на киселе... А теперь понимаю, что гордыня то была. Гордыня, почему и жалею, что отказался от такой чести.

* * *

В отличие от Василия, его брат Иван – отец мамы – устоял перед авторитетом, но не устоял перед юбкой: подобные парадоксы часто случаются с мужчинами. Когда я читаю набоковскую «Лолиту», я вспоминаю деда. Как знать, может быть, Набоков что-то слышал о его трагедии?

Когда это стряслось, дед был уже взрослым, а главное, многое пережившим человеком. Отсидел в «Крестах» за участие в студенческих демонстрациях, проходил по процессу «83-х», был сослан на родину под надзор полиции, сбежал вместе с братом Василием в Америку, где братья и решили строить счастливую жизнь по рецепту Фурье, организовав трудовую коммуны. Из этого дела ровно ничего не вышло, и, когда закончились деньги, братья подались на родину.

Да, поиски нравственного идеала в России конца прошлого века многих уводили за океан и очень многих – в места не столь отдаленные. Деду повезло уцелеть и вернуться, а когда его брат Василий вдруг увлекся религиозными построениями Толстого, он – в знак протеста – приехал в Петербург, где и продолжил учиться, но уже не в Университете, а в Технологическом институте, «Техноложке» – как тогда, да и сейчас, его называют. Сняв комнату у вдовы чиновника, бородастый студент учился легко и увлеченно, что не помешало ему, впрочем, вскоре жениться на своей квартирной хозяйке. Брак не вызвал особых пересудов: супруги были одного круга, Дарья Кирилловна сохранила и красоту, и обаяние, несмотря на то что родила дочь в очень юном возрасте. Покойный супруг ее – отец девочки – был грек, и дочь-полукровка возвела в квадрат красоту, живость и обаяние русской матери и греческого папы. Это было на редкость грациозное существо с идеальной фигуркой, черными косами ниже пояса и густосиними глазами: сочетание, которое не может спокойно вынести ни один нормальный мужчина. И дед не был исключением: через год после свадьбы пятнадцатилетняя падчерица родила ему первого ребенка – мою старшую тетю Олю.

На этой клубничной сенсации давайте остановимся. Я рассказываю о своем деду и о своей бабушке, и мне совсем не хочется, чтобы их трагедия выглядела этакой секс-опереттой. Может быть, она и была бы таковой, если бы мой дед всю жизнь до безумия не любил бы этой женщины и если бы эта женщина не была такова, какова она была. И, к сожалению, выражение «до безумия» в данном случае не метафора. Дед и впрямь тронулся рассудком от этой несчастной любви, которая превратилась в ненависть, оставшись великой любовью и породив в реальной жизни поэтическое единство диалектических антиподов. Но все должно знать свое место, а в особенности – рассказ о бабушке, ибо она-то и стала моим главным наставником, учителем и воспитателем.

Когда несовершеннолетняя девочка оказывается мамой, это естественно, но не совсем привычно, что ли, а потому способно создать лавину слухов и сплетен. Когда же эта родившая девочка – ваша падчерица и вы не только не отрещиваетесь от всего на все стороны – нет, вы безмерно счастливы! – это уже гран-скандал. И, учтя неизбежность этого гран-скандала, дед при первых намеках падчерицы на взаимность честно рассказал все ее матери, то есть своей законной жене. Не повинился, а объявил, что любит он не ее, а ее дочь, и женился только для того, чтобы быть рядом с девочкой всю жизнь и всю жизнь любить ее. И что девочка ответила взаимностью со всем пылом греко-славянского происхождения. Не знаю, любила ли Дарья Кирилловна моего деда, но все их объяснения закончились тем, что оскорбленная супруга уехала в Высокое, отошедшее к тому времени в собственность Ивана Ивановича, заявив, что не желает более видеть ни мужа, ни дочери.

Вскоре у двух горячо и искренне любящих людей родился первый незаконный ребенок. Незаконный потому, что Дарья Кирилловна о разводе не желала ничего слышать, и в глазах церкви и общества получалось, что юная грешница прижила ребенка на стороне. В соответствии с этим ребенок получил отчество не по родному отцу, а по крестному, а поскольку крестным был брат Ивана Ивановича Георгий, то моя старшая тетушка и писалась всю жизнь Ольгой Георгиевной во всех бумагах и документах. Матушка моя оказалась второй незаконной дочерью, крестным отцом ее был другой брат, Николай, и звалась она, соответственно, Еленой Николаевной. И только последующие дети – Владимир и Татьяна – родившиеся после смерти Дарьи Кирилловны и венчания собственных родителей – получили право на отцовское имя: Владимир Иванович и Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, моя тетя Таня, пережила всех и вся: революцию и Гражданскую войну, смерть первого мужа и расстрел второго, коллективизацию и опричнину, Великую Отечественную войну и угон в Германию.

* * *

Когда это случилось, она с маленьким сыном Вадимом и дочерью Ольгой, у которой уже был ребенок, жила в Жиздре – маленьком городке тогда Смоленской области, выбранном заботливым НКВД для ее ссылки без права изменения места жительства. К тому времени Оля уже закончила педагогический техникум и преподавала немецкий язык, что в какой-то степени помогло им выжить. Когда наши войска освободили Жиздру, мама писала множество запросов во все инстанции, но получала один ответ: «О судьбе ваших родственников известий не имеется». И только в 45-м, вскоре после Победы, из Смоленска пришло письмо от самой тети Тани. И мы с мамой тут же выехали в Смоленск.

И я увидел разрушенный почти до основания город моего первого вздоха. Разбитые и взорванные дома, исчезнувшие улицы, руины кварталов, в которых мне до сей поры чудился запах трупов и взрывчатки. И над всем этим возвышался не тронутый ни единой бомбой Успенский собор, в котором шли службы. Я не мистик и тем не менее не мог не признать, что здесь не обошлось без какого-то чуда. Уцелело самое высокое здание, отличный ориентир для бомбежек как германских, так и наших самолетов, и – ни одной бомбы не попало в него, хотя рядом было решительно все сметено с лица земли.

Тетя Таня нас встречала. Она жила на Покровке в каком-то огромном подвале, где на узлах, на досках, на охапках соломы ютилось множество беженцев и перемещенных лиц. Вместе с нею были Оля и Вадим: Олин ребенок умер еще во время оккупации. Я оставил их в этом подвале и помчался в центр Смоленска, где провел свое детство. Здесь тоже было много разрушенных домов, но сам центр пострадал все же меньше, чем иные районы города. Целым оказался ансамбль, окружающий Блонье, Лопатинский сад и, как ни странно, все памятники Отечественной войны 1812 года: немцы увезли в Германию только памятник генералу Энгельгардту. Я пометался по знакомым местам, выяснил, что наш дом во дворе по улице Декабристов 2/61 тоже разрушен бомбой, и уже под вечер вернулся в подвал на Покровку. На следующий день мне предстояло помочь тете получить хоть какой-то «вид на жительство» и место этого жительства.

Признаться, я не умею продирается куда бы то ни было, расталкивая всех локтями. Не умею просить, не умею жаловаться: родители постарались избавить меня от этих холопских качеств, не очень полагаясь на гены (тогда это не было столь модным, каким стало впоследствии). Поэтому я провел трудную ночь, ни на что не решился, но когда пришел вместе с тетей Таней и своими двоюродными братом и сестрой на какой-то контрольный пункт и увидел огромную очередь на улице, то что-то со мной случилось. Я уже был офицером (я получил звание младшего техника-лейтенанта еще в апреле 45-го), а потому решительно пошел мимо всех обреченно стоявших и угнетенно молчавших. В приемной тоже яблоку некуда было

упасть, хотя сюда вызывали людей порциями. У входа в кабинет стоял какой-то сержант, но я отодвинул его и без стука распахнул дверь. Пишу об этом столь подробно потому лишь, что и до сей поры этого не забыл и до сей поры удивляюсь самому себе.

За столом в кабинете сидел немолодой майор, если судить по званиям армейским, напротив его – тихо плачущая женщина. Тогда многие плакали, но всегда – тихо, всегда собирая в платочек собственное горе, точно стесняясь его.

– Проездом, – объявил я, козырнув майору. – Дело у меня, а времени – в обрез.

– Обождите в приемной, – сказал майор женщине.

Несчастливая женщина еще не успела выйти, как я, развалившись на освободившемся стуле, уже начал что-то говорить. Помнится, одна здравая мысль тогда сидела в моей голове: не дать майору перехватить инициативу. И я не дал. Я рассказывал майору о Параде Победы, участником которого был и в самом деле; об академии, в которой учился, о преимуществе наших танков... Ну и, конечно же, о тете и ее семье, угнанных немцами в Германию. Развязностью, которой стыжусь до сей поры, я прикрывал свое полное неумение разговаривать с незнакомым человеком: черта, свойственная мне от природы. Я умею и люблю говорить с аудиторией, она меня не пугает, и я всегда нахожу верный тон. Но разговор тет-а-тет был и остался моим слабым местом: я – скорее массовик-затейник, нежели собеседник.

Сдается мне, что майор прекрасно понял меня тогда. Понял мою полную беспомощность и наивность, но понял и то, что я изо всех сил, глупо и неумело пытаюсь исполнить долг: помочь родным, попавшим в тяжелое положение. Конечно, он мог бы сказать уже ставшее знаменитым «разберемся», тем более что я намеревался в тот же день уехать в Москву, но сказал другое:

– Все сделаем. Учись спокойно.

Я ушел. А майор, закончив с плачущей женщиной, вызвал к себе тетю Таню и Олю. Не знаю, о чем они говорили, но документы им были выданы, а местом проживания определена Ельня по их просьбе. Все же ближе к родному гнезду...

Вечером того же дня мы выехали в Москву, взяв с собою Вадима. Он никогда не учился в школе, а болтал куда чаще по-немецки, основательно путаясь в русском языке. Предстояло подготовить его для пятого класса, что нам и удалось. А затем Вадим закончил техникум, следом – заочный институт, всю жизнь проработал в ГАИ Ярославля и вышел в отставку полковником милиции.

Тетя Таня умерла счастливой при всей своей сказочно несчастливой жизни, и в этом смысле она несколько выбивается из легиона большевистских жертв. А причина в редкостном жизнелюбии, улыбчивом оптимизме и поразительном для такой горькой судьбы чувстве юмора. Ее сестра, моя матушка, была полной ее противоположностью, хотя тетя Таня уверяла меня, что в молодости мама была совершенно иной. И дело совсем, совсем не в возрасте...

* * *

Опять – о маме. О том, почему она однажды разучилась улыбаться и не улыбалась уже никогда. И никогда не плакала, даже на похоронах отца не проронила ни слезинки.

К моменту рождения первого ребенка ее грешный отец уже где-то служил, но в преддверии скандала сразу же перевелся подальше. Не знаю точно, где родилась тетя Оля, но мама увидела свет в Варшаве. Эта неосторожность родителей лишь чудом не испортила жизнь дочери: в 1939 году во время злосчастной Финской войны матушка оказалась в числе зачинательниц движения командирских жен по оказанию помощи раненым воинам. Для нее это было обычным занятием, поскольку подобной деятельностью занимались когда-то ее бабки, прабабки, кузины, тетки и вообще «дамы общества», но командование было потрясено порывом патриотизма, список жен-благотворительниц должен куда следовало, и «ТАМ» соизволили пожелать лично поглядеть на подвижниц. А поскольку грамотность уже овладела массами, то ни одно

доброе дело теперь не мыслилось без бумажек, и началось писание анкет и заполнение автобиографий (я сознательно написал абракадабру, достойную этого занятия). Матушка и там, и там, и там, и... в общем, во всех видах жандармских бумажонок честно указала, что родилась в Варшаве, и была, естественно, немедленно изъята из всех списков. Так она и не пообщалась с товарищем Сталиным, но зато, правда, не познакомилась и с его Малютами Скуратовыми на местах, что следует рассматривать как сказочный подарок судьбы.

Она познакомилась с ними раньше, но об этом знакомстве – в свое время.

Я мало интересовался детством матушки, о чем очень сожалею сейчас. Знаю, что совсем еще маленькой девочкой она оказалась в Брест-Литовске во время страшного пожара, когда сгорел весь город: мама помнила, как бабушка несла ее на руках сквозь горящие улицы, а кошка вырвалась из кошелки и бросилась в пламя. Сама же бабушка этой истории никогда не касалась, может быть потому, что огненное крещение повлияло на нее совершенно непостижимым образом и вскоре после пожара восемнадцатилетняя мать двух незаконнорожденных дочерей сбежала от них, семьи и безмерно любящего ее мужа с каким-то усатым прохиндеем при шпорах и сабле.

Для того чтобы представить себе, что было с дедом, надо учесть, что дед был материалистом-фанатиком, если вообще возможен подобный симбиоз. А фанатические материалисты переносят удары судьбы особенно тяжело по той простой причине, что исходно не верят в эту самую предначертанную судьбу. И там, где идеалист утешается велением рока, мистик – вмешательством потусторонних сил, а циник – уверенностью, что худшее – всегда впереди, материалист оказывается безутешным. Самая рациональная философия бессильна в сфере людских отношений, а в особенности – в отношениях между мужчиной и женщиной, и бездушно жестока к своим верномыслящим: закон конечной справедливости действует с непреложной беспощадностью. Выигрывая в знаниях, ты проигрываешь в вере, а поставив на материальное, лишаешься иллюзий, столь необходимых человеку, чтобы нормально прожить отпущенную жизнь: убежденные материалисты куда чаще заболевают психическими расстройствами, нежели идеалисты, – эту истину вам откроет любой серьезный психиатр. А дед был убежденным трижды: убежденным материалистом, убежденным атеистом и убежденным влюбленным – и в соответствии с такой надстройкой падал с третьего этажа возведенного им замка. Поначалу он попытался пить, но это был еще не запой, а попытка компенсации. Девочки плакали и звали мамочку, и это отрезвляло. Дед устоял на ногах, упаковал детей и лично отвез их в Высокое к своей собственной жене Дарье Кирилловне.

Здесь начинается путаница, в которой я не в силах разобраться. Поскольку Дарья Кирилловна была законной супругой Ивана Ивановича, то она приходилась мачехой его дочерям. Но поскольку она же была матерью их сбежавшей матери, то она одновременно приходилась осиротевшим девочкам и бабушкой, а ее законный супруг был одновременно и отцом, и дедом. Тут было от чего свихнуться, и мама считала, что все несчастья материнского рода начались с этой неразрешимой задачи.

Итак, дед привез Олю и Элю в Высокое, честно рассказал о бегстве жены неизвестно куда и неизвестно с кем и попросил приютить малюток. Судя по маминим весьма скупым рассказам, он не стремился получить личное прощение и, заручившись помощью растроганной бабки (!), тут же укатил в Брест-Литовск к месту государственной службы.

* * *

Неизвестно, как бы сложилась судьба и моей матери, и моего отца, да и меня самого, если бы Иван Иванович Алексеев служил не в городе Брест-Литовске, а, скажем, в Нижнем Новгороде. Почти наверняка я бы не родился, поскольку причинный ряд моих родителей был бы нарушен и они попросту не смогли бы встретиться, а уж тем паче полюбить друг друга. А

если бы я все же и родился, то у меня были бы иные родители, иная судьба, а следовательно, это был бы не я. Здесь заключена некоторая мистическая предопределенность, что является одним из родников искусства, пытающегося предложить свои варианты бесконечных человеческих «если бы». Это не игра в слова, а вполне трезвое размышление, позволяющее сделать вывод о господстве случая в личной судьбе каждого человека. Закономерности верны лишь для масс, для общего потока, для всех оптом. Судьба каждой овцы и каждого барана общего человеческого стада есть реализация чистой случайности, и никакие законы тут не действуют и действовать не могут. Ради постижения этого парадокса человек и призвал на помощь искусство с его весьма относительными законами любви, верности, долга и прочего орнамента случайностей самого зарождения человеческой жизни.

Дедушка Иван Иванович служил в городе Брест-Литовске. А спустя семь-восемь месяцев после бегства юной полукровки возвращался из Европы родной брат Ивана Ивановича и крестный отец моей матушки Николай Иванович Алексеев. А так как в те времена люди считали спешку ниже собственного достоинства, то Николай Иванович сделал трехдневную остановку, дабы не просто повидаться, но и потолковать с братом. А поскольку ехал он из Парижа, то и поведал младшему брату, что шпоры с усами и саблей оставили беглянку на произвол судьбы и что беглянка уже полгода зарабатывает на жизнь, распевая в ночных кабаре. Короче говоря, легкий жанр.

Дед проводил брата, испросил отпуск и укатил в Париж. Там он разыскал беспутную бабку, заплатил все ее долги, молча выслушал задыхающийся от слез и раскаяния лепет и взял два билета до дома. А вернувшись в Россию, сам съездил в Высокое и забрал девочек, ничего не объяснив законной жене. Дарья Кирилловна кое-как перенесла и этот удар, догадавшись, что дочь вернулась. Но она уповала на свое, материнское знание этой дочери. И действительно, через год с небольшим подросшие малютки Оля и Эля вновь были доставлены в Высокое, поскольку их родная маменька во второй раз сбежала от мужа. На сей случай с проезжим итальянским тенором и ненадолго: через три месяца она добровольно вернулась в слезах вместо бриллиантов.

Все эти истории мне рассказывала тетя Таня. Она никогда не осуждала свою грешную мать, поскольку была убеждена, что та просто не понимала, какую боль приносила близким, которых, как ни странно, очень любила, но – как-то по-своему, что ли. А мужа, то бишь моего деда, полагала просто святым человеком, умеющим любить и умеющим прощать. Последнее, правда, до известного предела, как потом выяснилось.

Но тогда дед и впрямь был святым, ибо простил своей любви и этот, повторный грех. Но в семейную жизнь он, вероятно, уже не верил, потому что категорически запретил забирать детей из Высокого. Бабка согласилась с невероятным смирением, но без детей ей было скучно, и... И постепенно, день за днем, ласка за лаской...

Надо хоть чуточку представить себе эту грешную мою бабку. Я помню ее, естественно, в возрасте, но, вспоминая ее сейчас, ясно понимаю, какой вулкан обаяния, женственности, кокетства и лукавства это был (даже тогда!), а потому могу вообразить, что за дьявольская сила была заключена в ней в ее феерические восемнадцать лет. И понимаю, что с такой женской мощью дед совладать не мог. Да и никто не мог, я в этом сейчас убежден: бабку не бросали – от нее убегали, только и всего. Убегали в страхе, ибо такая женщина могла потребовать королевство за завтраком, и пришлось бы идти его завоевывать.

* * *

При всей наружной мягкости внутри Ивана Ивановича сидел кремешок. Дед предъявил его позже, а тогда показал только одну грань, категорически заявив, что если бабка не может без детей, то пусть сама за ними и едет.

И бабка поехала. Поехала к собственной матери, у которой увела мужа, забирать собственных детей, к которым одинокая Дарья Кирилловна успела привязаться со всем неистовством брошенной женщины. Ни бабушка, ни тем более мама никогда не рассказывали мне об этом свидании: я знаю лишь сам факт. Но это такой факт, что я завидую тому писателю, который наполнит его плотью и кровью. Воистину эта сцена – сцена свидания матери и дочери – достойна самого талантливого пера. Особенно если учесть, что там не могло быть и не было современной крикливой суеты и спешки: женские судьбы и судьбы детей решались за чашечкой чая сдержанно и вдумчиво, но сколько страсти клокотало под этой сдержанностью!

Молодая мать забрала детей, а несчастная Дарья Кирилловна так и не оправилась от последнего трехдневного разговора с единственной дочерью и вскоре умерла. Смерть ее глубоко и искренне потрясла мою бабушку; она остепенилась, возилась с детьми, вела дом, была ласкова с мужем и через отмеченный приличиями срок обвенчалась с ним в церкви села Уварово. Родившийся после свадьбы мальчик был уже вполне законным, равно как и последняя дочь Татьяна. Бабка рожала, была сказочно приветлива и нежна с мужем, держала дом, прислугу, выезд, принимала у себя и наносила визиты, и эти три или пять лет были, по всей вероятности, самыми счастливыми годами жизни Ивана Ивановича Алексева. А счастье всегда недолго, ибо часы его сочтены, почему их и не наблюдают, и вскоре после рождения последней дочери бабка сбежала в третий раз.

Если быть точным, то не сбежала, а ушла, оставив записку, в которой писала, что жить не может без сцены. Что понимает, насколько она мерзка и отвратительна. Понимает, что она – падшая женщина, что порочная и порченная и что ее необходимо проклясть и забыть. Дед проклял, но не забыл, и начал пить. И пил, уже не переставая, пропив службу, Гражданскую войну (попросту не заметил!) и в конце концов свой собственный очень ясный и острый ум. А бабка металась по провинциальным подмосткам, мелькая черными чулками в кладбищенском свете свечей вчерашнего дня. И по окончании Гражданской войны объявилась у своей второй дочери и как ни в чем не бывало взялась за мое воспитание.

Дети, лишенные матери и практически отца, росли в семьях теток и дядей. Как бы там ни было, а они чему-то выучились, тем паче что новое время требовало и новых знаний. Все они – три сестры и брат – встречали эти новшества уже в собственных семьях, и все – в Смоленске. А дед проживал в своем доме невылазно. В родовом поместье Высокое, двадцать две версты от Смоленска. Учтывая то, что он потерпел за свои убеждения от царизма, ему выдали какую-то охранную грамоту, а крестьяне не тронули не только его дом, но и огромный сад, может быть, потому, что он отдал свои земли общине без всякого выкупа, исходя из собственных представлений о справедливости. У него была новая гражданская супруга – его прежняя домоправительница, воспринявшая революцию как право залезть к барину в постель. По странному стечению обстоятельств звали ее Дарьей: думаю, у деда был определенный комплекс вины, связанный с этим именем. Эта Дарья Матвеевна была очень гостеприимна и домовита, чудовищно гордилась своей новой родней и всегда приглашала в Высокое. Дед пил каждый день, а когда не пил – молчал, но при всех вариантах не стремился навстречу взрослым детям и подрастающим внукам. Скорее, он избегал их, делая исключение только для моей мамы. С нею он разговаривал, если был в начале запоя, или молча разглядывал ее, если находился в кратком периоде трезвости. Он перенес внимание к ней и на ее детей – на Галю и на меня; я жил у него года три, что ли, когда у моего отца был период частых переводов по службе. Дед научил меня читать и слушать, молчать и спрашивать, а это – великие науки детства.

* * *

Лет в шесть, когда отец прочно осел в Смоленске и даже получил квартиру от штаба Белорусского военного округа, меня от деда забрали, а вскоре Иван Иванович умер. Я был маленьким, но почему-то помню его. По крайней мере, ясно помню три или четыре эпизода.

У деда была белая лошадь Светланка (тогда это имя еще не стало в России женским), на которой он ездил по утрам в седле, если стояла хорошая погода. В дождь ему закладывали пролетку, но в тот день, который мне помнится, дождя не было, потому что дед взял меня на руки, уже сидя в седле. И Светланка куда-то зарысила, а я запомнил это утро, потому что не боялся. Даже когда дед пересадил меня вперед и только придерживал рукой. И я помню чувство своей небоязни, потому что очень верил деду.

Как-то деревенские ребяташки, дружбу с которыми дед всегда приветствовал, попросили меня надергать волос для лесок из белого хвоста Светланки. И я пошел дергать, а у Светланки был в то время маленький жеребенок. И увидев, что я оказался от него в опасной близости, Светланка отбросила меня копытом. Именно отбросила, а не ударила: кобылка была сообразительная. Но я испугался и заорал, и дед сразу же кинулся ко мне. Вероятно, помнится потому, что от деда исходил густой запах табака. Отец мой тоже курил всю жизнь, но запах его был иным, почему, вероятно, я и запомнил.

Дом в Высоком был кирпичным, с четырьмя колоннами у парадного входа. От него шли два деревянных крыла, куда вели два лестничных марша, между которыми стоял белый концертный рояль. Дед купил его для того, чтобы бабка музицировала и распевала свои песни, но почему он стоял тогда в маленьком холле при входе, я не знаю. Может быть, дед сослал его из гостиной после последнего бабкиного побега, что при его характере, думаю, допустимо. Как бы там ни было, а располагался он там, и на его крышке осенью всегда стояла большая ваза с самыми красивыми яблоками. В огромном саду было множество плодовых деревьев, яблоки и груши никогда полностью не собирали, почему мне, вероятно, и снился когда-то заваленный лиственной осенний сад.

И однажды мне вдруг захотелось во что бы то ни стало достать самое красивое яблоко. А взрослых не было, да они мне и не были нужны для моей почти преступной цели. Я подволок к роялю нечто весьма шаткое, кое-как взгромоздился, потянулся за вазой, ухватил ее за край, и тут сооружение подо мною рухнуло. Я свалился на пол, не отпустив во время вазы, она упала, осколки и яблоки посыпались на пол, а в дверях возник дед. На сей раз он не торопился меня поднимать, а сказал весьма укоризненно (странно, порою я слышу эти спокойные укоризненные интонации и до сих пор):

– Видишь, Боря, что происходит, когда берут без спросу.

И еще я помню библиотеку. Она представлялась мне огромной, но вероятно потому, что сам я был маленьким. Смутно помню читающего в кресле деда и себя самого, разглядывающего картинки в книжках у его ног. Эти книжки – полную, роскошно изданную серию для юношества – дед распорядился передать мне, и однажды в Смоленск приехала подвода с тремя ящиками дедовского завещания. К сожалению, они сгорели в Воронеже, но я помню их. Даже картинки в них помню.

А библиотека досталась дяде Володе, маминому брату. Он решил стать букинистом и торговал в павильоне на Блонье. Правда, недолго и, к счастью, без последствий, потому что уже кончался нэп.

Да, только Эля и ее дети имели право на внимание деда и даже на его ласку, потому что мама была очень похожа на свою мать. Полугречанку, полушансонетку, полудурную и полухорошую стихийную язычницу. Похожа, правда, не более, чем копия на оригинал: только

внешне, не унаследовав от своей матери поразительного таланта всю жизнь прожить полуженщиной-полуребенком с характером удивительно легкомысленным и удивительно чистым.

* * *

Дед пил, не теряя здравого ума, много лет, а начал заговариваться во вполне трезвом виде. Дело в том, что по возвращении из нетей – это почему-то совпало с окончанием Гражданской войны – бабка с самыми благими намерениями решила нанести визит мужу, с которым, правда, была разведена уже новой властью. И нанесла: Дарья Матвеевна рассказывала, что влетела она со щебетом и сияющей улыбкой, а дед встал, простер руку и выкинул свой кремень:

– Вон!..

Бабка ушла, а дед стал малость заговариваться. Но все проходило, когда он видел мою маму, потому что она была похожа на бабушку.

Повторюсь: к сожалению, только внешне. Бестолковое, по сути, сиротское детство – а детство всегда при всей его хрупкости остается фундаментом характера – не могло пройти даром. Матушка выросла истеричной, подозрительной, скорее мрачной, чем веселой. Все это с лихвой компенсировалось ее самоотверженной любовью к детям. Мама прожила свою жизнь только ради нас, во имя нас и для нас, исполнив до конца свой материнский долг. Поэтому мы с сестрой почти не ощущали ее тяжелого, надрывного характера – матушка обрушивала его на отца. И – странное дело! – отец тоже оказался святым. В иной, разумеется, форме. Ему не приходилось прощать, а только терпеть, но у святости разные жанры.

– Из колокольчика вырвали язычок, – со вздохом сказала мне тетя Таня, когда гостила у нас на даче, а отца уже не было в живых.

В 18-м году маму арестовали как заложницу. Смоленскому ЧК было известно, что ее муж – царский офицер, но почему-то совершенно неизвестно, что он еще в 17-м перешел вместе с ротой в Красную армию. А тут вскрыли какой-то очередной заговор и стали брать всех по спискам с общим ультиматумом: «не сознаетесь – расстрел». Сознаваться было не в чем, и маму ночью повели расстреливать куда-то за башню Веселуха. Однако почему-то не расстреляли, а привезли назад, в тюрьму. На следующий день пришло сообщение об отце, маму отпустили, но еще в камере она подцепила бушевавшую в Смоленске оспу и угодила в больницу. Умирать второй раз.

Это было уже слишком, и мама сломалась. Стала мрачной, неразговорчивой, углубленной в собственные думы и совершенно разучилась улыбаться, а уж смеяться – тем более: кажется, я ни разу не слышал, чтобы мама смеялась в голос, от души. А в двадцатом у нее бурно стала развиваться чахотка (так тогда именовали особенно тяжелую и быстротечную форму туберкулеза). Форма была открытой, мама кашляла кровью, и дни ее были сочтены.

Маму и меня спас тихий совет участкового врача доктора Янсена:

– Рожайте, Эля. Роды – великое чудо. Только не кормите ребенка грудью.

Терять маме было уже нечего, и она – рискнула. И это действительно оказалось чудом: туберкулез начал рубцеваться, и когда мне было двенадцать, меня и маму сняли с учета в тубдиспансере. Мама прожила 86 лет, напрочь забыв, что когда-то была смертельно больна. Однако даже мое рождение не вернуло маме улыбку и не смягчило ее постоянно напряженного взгляда.

В Смоленске

Мне сказочно повезло: я издал свой первый вопль и увидел свой первый свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен – есть множество городов и красивее, и древнее его. Повезло потому, что Смоленск моего детства к моменту моего первого крика еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот, плывущий по течению времени, история с географией. Географически город Смоленск – в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей – расположен на Днепре. То есть на вечной границе между Русью и Литвой, между Московским Великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, между Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла когда-то пресловутая «черта оседлости», о существовании которой вряд ли помнят наши внуки. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены и стойкость его защитников, а брызги оседали в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой для всех формуле ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители рождались с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние хозяева превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь оседали искатели истины, так и не сумевшие преодолеть черту оседлости, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное Детство.

А ведь Детство человеческое не имеет национальности – никогда не задумывались над этим? Эта категория самосознания появилась тогда, когда человек стал взрослым, навсегда утратив детскую чистоту и детскую непосредственность. И я завидую Детству. Самому естественному и самому независимому из всех человеческих возрастов.

И здесь очень важно, где именно ты увидел свет и вдохнул первый глоток воздуха. И можно только себе представить, каким бы стал я, если бы родился не в древнейшем городе России, а где-либо, скажем... в Магнитогорске. Городе без прошлого. Без истории, без Крепости, без традиций, без Лопатинского сада, без бронзовых пушек на стадионе, без трех отцовских автомобилей, без спасенных и спасающихся. В городе, который никак не смог бы стать плотом, на котором плывут сквозь время России ее души. На котором спасаются от мора, глада и пожара, не думая о том, чьи деяния принесли это вселенское горе, не испытывая ни злобы, ни ненависти, а только ужас пред завтрашним днем.

Смоленск спасал всегда. До сей поры помню табличку на остатках крепости в Лопатинском саду: я непременно читал ее всякий раз, когда бывал в нем, и всякий раз испытывал невероятный прилив гордости:

«СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ВЫДЕРЖАЛА ПЯТЬ ОСАД...»

С той поры она выдержала уже семь. Семь, потому что не сдалась гитлеровцам в сорок первом и сумела выстоять растянутую на десятилетия осаду большевиков. То, что сегодня их последователи правят бал в моем родном городе, – явление временное, поскольку само их время уже давно прошло...

Я вырос рядом с Крепостью: до нее было всего-то два квартала. Я исползал и излазил ее всю, вдоль и поперек, я знаю о ней то, чего не знают даже дотошные краеведы, потому что ребенок куда глазастее и зорче любого взрослого специалиста. Ему практически неведом страх, он гибок и ловок и может пролезть в любую дыру, порою даже не зная, а куда, собственно, она ведет. Для него не существует искусственных запретов взрослых, его не остановишь ни надписью «Вход воспрещен», ни забором с колючей проволокой. Его ведет безгрешная любознательность – та страстная внутренняя потребность узнать мир, которая и привела человечество к вершинам знаний.

В надвратной башне Никольских ворот, над которыми со времен Отечественной войны 1812 года лежало французское пушечное ядро, хранились какие-то документы, сваленные в кучу, насыпом. Вход в башню был забит досками и опутан колючей проволокой, но нас это не смущало. Мы выломали доску, отогнули колючку и получили доступ к этому архиву, обреченному на нетление. Я взял с собою какую-то тощую папку и показал отцу.

– Документы Городской управы, – сказал он, просмотрев. – Где ты их взял?

Я рассказал о Никольской башне. Он велел положить папку на место, запутать вход колючей проволокой и больше туда не залезать. Попутно он объяснил мне самое главное: что такое архивы и почему их надо хранить. И я – понял.

А левее Никольских ворот стояла башня без перекрытий, но мы обнаружили в ее стенах лазы, которые соединяли капониры друг с другом. И пробирались по ним, не боясь застрять. Впрочем, как-то раз меня вытаскивали за ноги, поскольку лаз оказался заваленным, а развернуться в нем я не имел никакой возможности.

Однажды я сорвался с высоченной крепостной стены в Лопатинском саду. Обычно мы поднимались на нее, хватаясь за уцелевшие кирпичи и опираясь на них. И я уже добрался до верха, когда подо мною вдруг обрушился опорный кирпич, и я, естественно, полетел вниз. К счастью, я упал в ров, в который каждую осень сваливали листья, подметая аллеи сада, а потому только растянул ногу. Друзья помогли мне добраться до дома, а уж там бабушка распарила ступню и наложила тугую повязку.

* * *

В Смоленске моего детства был Храм. Двери его были распахнуты во все стороны света, и никто не стремился узнать имя твоего Бога и адрес твоего исповедника. И никто не спрашивал, какой ты национальности и кто твои родители. Имя этого Храма – Добро. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра – детство или Смоленск.

– Эй, ребяташки, отнесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать – и говорил! – любой прохожий любым ребятам, играющим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть кем угодно – русским или эстонцем, евреем или татаринцом, цыганом или греком, – а старушка тем более: это было нормой жизни, и я не помню, чтобы кто-либо из заигравшихся детей не выполнил подобного распоряжения. Повторяю, помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова к людям и выжить можно было, только ощущая плечо соседа. Конечно, помощь – простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе: четыре комнаты и кухня. А через овраг на холме рос огромный дуб: сегодня такое дерево непременно снабдили бы охранной табличкой, но дуб не дожил до наших дней. Это с него упал Метек Ковальский; это с него меня снимал дядя Сергей Максимович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, младший сын тети Двойры, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для всеобщего обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб

от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры. Не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци, старый славянский дуб?..

– Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Сергею Максимовичу соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у бабушки Ханы стакан пшена в долг...

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе. Стараясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов и пустопорожних цитат прививала мне великое чувство повседневного бытового интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, а тетя Фатима одаривала нас сушеными грушами; дядя Антал разрешал мне торчать у него в кузнице, где легко ворочали молотами двое цыган, Коля и Саша; тетя Двойра поила меня козьим молоком; дядя Сергей Максимович учил вырезать свистки из ракиты, а еще были... Были, были...

Боже мой, в моем Смоленске обитала вся Россия!..

В семь лет я расстался с дубом: мы переехали с Покровской горы в центр города на бывшую Никольскую, переименованную в улицу Декабристов. А вернулся к нему неожиданно – через год: пришел на экскурсию. Первую экскурсию в своей жизни.

Есть слова и понятия, которые маленький человек воспринимает, как Моисей воспринимал Заповеди на Синайской горе. Это связано с Первой учительницей, если ей, этой Первой, удалось раздвинуть горизонт и показать, что там, за его видимой чертой, лежат неведомые земли. В этом и заключается великое открытие детства: увидеть невидимое и непривычное за видимым и обычным.

* * *

Мую Первую учительницу звали... К стыду своему, я не помню ее имени, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно вырывались свежие воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень, очень старой, из прошлого века. Правда, каким-то образом мы узнали, что на Гражданской у нее погиб жених, но мы еще не умели считать года.

В один из солнечных сентябрьских выходных... Не воскресений, а общевыходных, что в те времена было совсем не одно и то же. В стране шла яростная борьба с религией, сильно смахивающая на «охоту на ведьм». Под флагом этой святой борьбы с Богом, этого красноезвездного похода против традиционной веры, скрывалась элементарная страсть варваров сокрушать культуру побежденных. Ну, к этому мы еще вернемся, а суть в том, что и в календаре усмотрели нечто церковное, а посему вместо привычных недель ввели «пятидневки», и все числа каждого месяца, делимые на 5, считались выходными. Потом сообразили, что выходных многовато, и пятидневки заменили шестидневками, объявив выходными те числа, которые делились на 6. Однако и эта мера не приумножила выхода конечного продукта, в результате чего все вернулось на круги своя, то есть выходным опять оказалось воскресенье. Отступление это дает картину полного сумбура, царившего в правительственных головах.

Так вот, в один из общевыходных учительница велела нам собраться у школы. Не всем, а тем лишь, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел и явился одним из первых. Учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским «часам», под которыми назначалось большинство свиданий и откуда шло измерение на всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый, чрезвычайно звонкий смоленский трамвай, цена за проезд в котором была несуразно дорога: 25 копеек из конца в конец – от Молоховских ворот до вокзалов. И мы покатали вниз, к Днепру, по Большой Советской. Грохочущий трамвай миновал Соборную гору, где шла ожесточенная борьба с верой, церковью и прихожанами купно и в розницу, выбрался через Пролом

из старого Смоленска, пересек мост и остановился у вокзалов, где мы и сошли. И под предводительством Первой учительницы переулками, задами, садами и дворами вышли к... дубу.

– Это самый древний житель нашего города, – сказала она.

Может быть, она сказала не теми словами, но суть я запомнил навсегда. А суть заключалась в том, что этот дуб – остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и до сей поры сохранились их гигантские могильные курганы. И что вполне возможно, что Смоленска в те времена еще не было, что появился он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной дубраве и плыли дальше «из варяг в греки». И постепенно вырос город, в названии которого сохранился как труд его древних жителей, так и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я и до сего дня помню грубую теплоту его многовековой брони: теплоту пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к Прошлому, ощутил это Прошрое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с горечью думаю, что было бы со мной, если бы я не встретился со своей Первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать из них Граждан Отечества своего. Низко кланяюсь светлой памяти Вашей, учительница Первая моя!

История разлита во времени и пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно, и не обладая ими. Есть счастливые города и страны, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие историю. Камни Смоленской крепости, кривые Варяжские улочки древнего города, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и сам воздух Смоленска питали меня Историей, и я чувствовал ее и любил ее, еще не зная, что это – наука, а не только богиня.

В Лопатинском саду сохранились остатки темницы, где томился Кочубей со своим верным Искрой. Я касался решеток, за которые держался он, ожидая решения своей судьбы.

Любимый смолянами сквер, ныне прозаически названный именем Глинки, в моем детстве хранил древнее название: Блонье. Блонье... болонье... заболонь... Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы осаждающих и где прятались дети и женщины во время осад.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар зарезал муромского князя Глеба, брата Бориса. Братья стали первыми русскими святыми, а Смядынь – это окраина Смоленска.

Огромная смоленская крепость, в моем детстве почти замыкавшая старый город, была постоянным местом игр и источником легенд. О кладах, о подземных ходах, о прикованных скелетах. Само место располагало к сочинительству, но ведь детское сочинительство – первая ступенька взрослого творчества.

Безликость современного города, удобного лишь для спешащих на работу взрослых, для транспорта, ремонта да надзора, тяжело ударила по неповторимости детства: все стали «родом из Черемушек». Что будут вспоминать выросшие в казарменно распланированных микро – и макрорайонах дети? Какая разница между 8-й улицей Строителей и 5-й улицей Созидателей? Стандартизация детства неминуемо приводит к стандартизации человека. Так не в этом ли причина, что ностальгия перестала быть русской национальной болезнью?

Место рождения играет совершенно особую роль во всей последующей жизни человека. Чаще всего она не осознается, эта уже сыгранная роль, но Маленький человек должен получить свою пещеру и свою Бекки Тэтчер, свой клад и своего индейца Джо, иначе детство его будет заведомо ограбленным. Образы детства всю жизнь живут в человеке, и – кто знает?.. – не они ли последними заглядывают в его тускнеющие глаза?..

Пойте гимны земле вашего Детства, ибо это и есть ваша Родина. Пойте себе, своим детям и детям ваших детей, влюбляя их в то, что они обязаны любить, беречь и защищать пуще собственной жизни.

* * *

Я рос на улицах Смоленска куда быстрее и интенсивнее, чем дома. Как только мы переехали с Покровской горы в центр, на Декабристов дом 2 дробь 61, так покой дворов, садов, сараев и ничейных оврагов, в которых мирно паслись козы, сменился мощным двором, с трех сторон замкнутым трехэтажным зданием, а с четвертой – единой системой бесконечных сараев. А шелест листвы, кудахтанье кур и нервные вопли коз – грохотом ошинованных колес, стуком копыт, скрипом, криками, ржанием, отдаленными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.

Основным транспортом гористого Смоленска были в ту пору ломовики. Так именовались грузовые извозчики. Летом – на огромных платформах с обязательным ручным тормозом; зимой – на тех же платформах, поставленных на полозья, где роль тормоза выполнял железный лом, которым придерживали сани на спусках. Лошади, лошади, лошади – сквозь все мое детство прошли лошадиные морды и крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Тысячи лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их подкармливали лошади, щедро рассыпая овес из торб, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый – в фольклор вошедший грубостью своей! – ломовой извозчик не поделился бы со своей лошастью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».

В те давно прошедшие времена любая домашняя животина была необходима человеку как помощник в нелегкой жизни. Животное, содержавшееся для развлечения, умиления, а тем паче – престижа, было редчайшим исключением и оценивалось, в общем, неодобрительно. К людям с подобными причудами относились иронически, и по завышенным меркам тогдашней нравственности отношение это было справедливым. В стране не хватало еды, и дети зачастую голодали куда страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добрым, но требовательным к себе самому. И не было того массового умиленного восторга перед, скажем, собакой, судьба которой резко ухудшилась, несмотря на все внешние признаки благополучия. Ухудшилась потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.

А машины были чрезвычайно редки. Мы знали их наперечет, тем более что на бортах они имели точные адреса: «Завод имени Калинина» или «Льнокомбинат». С началом шпиономании, беспрестанно подогреваемой властями, надписи на бортах исчезли, но мы все равно знали, что, скажем, к «Язу» Льнокомбината прицепиться можно (шофер остановит, если заорешь), а к «Форду» горперевозок лучше не подходить, потому что увезет черт-те куда, несмотря на все твои крики.

Любопытно, что городские власти города Смоленска получили светофоры куда раньше, чем автомашины, и немедленно установили их на всех перекрестках. Светофоры были двух типов: с четырьмя циферблатами, причем каждый – из двух секторов: красного и зеленого, разделенных желтыми просветами. По этим циферблатам безостановочно ползла стрелка, и движение регулировалось цветом сектора, в котором стрелка в данный момент находилась. Вторым типом был обычный трехцветный с ручным переключением, но их было куда меньше.

Почти повсеместно висели стрелочные светофоры, и было очень солидно, когда стрелка бродила по красному сектору, а лошади терпеливо ждали, когда она переберется на зеленый, хотя на поперечной улице никого решительно не было. В этом желании во что бы то ни стало регулировать то, чего пока еще нет, уже заключалось нечто в высшей степени символическое.

* * *

Потом произошло событие невероятное. Где-то в начале 30-х штаб Белорусского военного округа, который размещался в Смоленске (в нем тогда служил отец), начал получать машины отечественного производства: легковые ГАЗ-А и грузовые ГАЗ-АА. Штабное начальство тут же решило списать в утиль все автостарье. Однако, узнав об этом, отец предложил им не выбрасывать эти развалюхи, а отремонтировать и на их базе создать клуб любителей автодела. Отца кто-то поддержал и... передал в его распоряжение три списанные машины и даже бывший каретный сарай для их хранения. Он находился напротив стадиона с памятником-часовней в честь погибших во время Отечественной войны 1812 года и уцелел до сей поры.

Три машины: грузовой «Уайт», столь же древний «Бенц» (еще без «Даймлера») и знаменитая русская легковая машина «Руссобалт» – все дореволюционных времен. Каждая машина отличалась не только маркой, формой и назначением, но и имела свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу чем мог и сейчас хочу представить каждую машину как друга далекого детства.

«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон с камерой и крышкой, а металлические колеса, облитые резиной, как танковые катки. Поэтому летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил и терял управление на всех горках, и поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им очень редко. Кроме того, он имел настолько низкие борта, что отец всегда сажал людей на пол. Шоферской кабины у «Уайта» не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно по оси машины. Однако управление было простым, и отец именно на нем учил своих автолюбителей.

Насколько «Уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «Бенц» казался несуразно коротким, даже кургузым. Его основной деталью была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина становилась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и несуразно кривые смоленские горки.

Второй особенностью был автомобильный сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собою маленькую сирену с ручкой вроде вентиля, которую надо было вращать. Естественно, водитель не мог подавать сигналов, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку, несмотря на невероятное количество светофоров, смоляне ходили как хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки всего города безошибочно определяли:

– Борькин папка на драндулете шпарит!

Сложно было, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была, мягко говоря, человеком взнервленным, легко выходила из равновесия, норовила держаться двумя руками, и вращать сирену оказывалось некому. А люди то и дело возникали буквально под колесами, и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:

– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!..

Сиденье «Бенца», в отличие от аскетичного «Уайта», было пухлым от обилия нежнейших пружин, и на каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова. Отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука.

«Руссобалт» – автомобиль, широко известный и сегодня. Он – неперемный участник почти всех фильмов о Гражданской войне. Водительский салон его имел только одну дверцу

– с левой стороны, а за бортом правой на подножке размещался рычаг переключения передач. Салон был просторен, и можно было сидеть, вытянув ноги. Мы ездили на нем только летом, потому что верх у него был брезентовым и пассажиры мерзли из-за вечного сквозняка.

Правда, отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец охотно разделял шутки в свой адрес.

Он выпросил в штабе совершеннейший металллом, который красноармейцы на руках перекатали в каретный сарай, ставший отцовским гаражом. И можно представить, сколько сил, терпения и времени затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого дела, упорно веря, что все решается желанием да трудом. И ему всегда доставало труда и желания.

В нашем гараже не было ни окон, ни электричества: только настежь распахнутые двустворчатые ворота. Пол был цементным, слева от входа находился верстак, прямо – все три машины, а справа – ящик с песком и бочка с бензином. Автоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду на весь месяц, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели на воздух.

Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под машиной на войлочной кошме и регулировал сцепление капризного «Бенца». Это была тонкая работа, а потому рядом на полу стояла керосиновая лампа. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая отцу требуемые инструменты. И тут погас фонарь.

– Спички на верстаке, – сказал отец. – Сможешь сам зажечь?

– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу.

Раздался хруст и звон, по кошме побежали огненные ручейки, а я почему-то заорал от восторга. И сквозь крик слышал напряженный, но вполне спокойный отцовский голос:

– Открой ворота и беги. Открой ворота и беги.

Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, но зацепился гимнастеркой за рычаг. Пока я в дрожащем свете начинающегося пожара открывал тяжелые створки ворот, а отец, разодрав до горла гимнастерку, выкатился из-под машины, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант. Бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это еще не руки горели – горел бензин на руках – но я и сейчас вижу бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил бочку на бок, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и торопливо покатил бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за секунду до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя многие окна недосчитались стекол.

– Шляпа! – сказал отец, вернувшись в гараж и загасив остатки пожара.

Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: все определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться...

* * *

В начале лета мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни. Но срабатывала привычка: пока был жив дед, ездили в Высокое, потом снимали дом где-либо за городом. И в начале мая отец отправлялся искать подходящее место для лета. Три машины были в его личном и бесконтрольном владении. А мы поехали в Вонлярово на велосипеде. И помню разговор накануне.

– Я не могу, Эля, не имею права. Это машины штаба, и использовать их без особой надобности я не хочу. До Вонлярова мы и на велосипеде доберемся.

– Я не пушу с тобой Бориса!

– А ему-то не все равно, на чем ехать?

И я поехал на велосипеде. А сколько отцов не выдержало, не выдерживает и еще будет не выдерживать искуса и везет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на этот взгляд. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся – так уж распорядилась сама Природа. И еще раз поклон тебе, отец, за то прекрасное путешествие на велосипеде из Смоленска в Вонлярово при трех машинах в личном пользовании!..

Мы ехали на велосипеде вопреки такой естественной, такой логичной возможности, как личная машина. Вопреки бессмертному, как сам обыватель, представлению о престижности, лишь поколебленному революцией и вновь поднимавшему голову. Вопреки маминой боязни за меня. Наконец, вопреки элементарному удобству: отцу пришлось вертеть педали полсотни верст, да еще я сидел на раме.

В Вонлярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не из стремления к оригинальности – он вообще был лишен его начисто. А вот стремление к расширению моего кругозора у него было всегда.

Кто не видел тропинок, бегущих по обе стороны железнодорожного полотна в полосе отчуждения! Они резво взбегают на откосы, спускаются в низины, перескакивают через ручьи, петляют, иногда исчезая, но непременно появляясь вновь. И, доведя вас до города, растворяются в нем, чтобы потом, когда вы снова тронетесь в путь, весело бежать рядом. Я и сейчас люблю на них смотреть и, изъездив много стран и километров, знаю, что они – русские: за рубежами нет такого неперемного атрибута железной дороги. Этаким крепенькой босоножки, что бежит рядом с городским могучим франтом, ловко попадая ему в такт смуглыми ножками...

И в Вонлярово мы поехали по такой тропинке. Она была утоптана до бетонной твердости, но сохранила теплоту и стремительность топтавших ее ног. Я сидел на раме меж отцовских рук и держался за руль, а отец неспешно вертел педалями, и мы катили. По ровному и под гору, а вот в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают с детьми во всем мире, а со взрослыми – только в России. Но дело не в разговорах – в конце концов, разговоры одинаковы для детства, – дело в дороге. В том третьем пути, который я прошел с отцом туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не по спидометру автомашины – измерив его собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под гору ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых у реки, поток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне сейчас кажется, что все те объяснения – что машина не его, что бензин не его, что... – были затеяны отцом с единственной целью: показать мне, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой.

* * *

Техническая элита Смоленска именовала отцовский автопарк гробами. В подтверждение правильности этого определения приведу один из множества случаев.

Шуточку эту старина «Уайт» сыграл с нами солнечным январским днем, в те времена именовавшимся «общевыходным». Отцу поручили перевезти какие-то ящики из штаба округа в казармы на Покровской горе. Груза было много, почему и пришлось взять «Уайт», чтобы обойтись одной ездкой. И мама меня отпустила, и машина завелась быстро, и мы покатали к штабу. Там красноармейцы загрузили кузов ящиками, и справа от отца – я сидел слева – сел сопровождающий: весьма располневший коротышка-командир. И мы тронулись, пробираясь к Большой Советской по обледелым горбатым улочкам. Выбрались вполне благополучно

и спокойно покатали вниз, к Днепру. Помню, что двигатель ревел немилосердно, и теперь понимаю, что отец им тормозил наш спуск, поскольку хорошо знал о грузошинах, гладких, как хромовое голенище.

И тут я почувствовал, как начала разгоняться машина, увидел, как судорожно вцепился в баранку отец, а мы все быстрее и быстрее неслись вниз на громоздкой, тяжело груженной машине. Тормоза работали, но как только отец прикасался к ним, наш «англичанин» начинал вальсировать, и отец тотчас же давал ему полную свободу. На счастье, повторяю, был общевыходной, ломовики не работали, и по Большой Советской не тянулись бесконечные обозы.

Напротив Соборной горы, где кишмя кишел народ, начинался тихий переулочек, ведущий к Резницкой улице. На подлете к нему отец крикнул, чтобы мы крепче держались, и круто заложил руль налево, надеясь ворваться в пустынный переулочек. Так бы оно и вышло, если бы из переулочка навстречу нам не выкатились вдруг детские санки. Отец судорожно завертел рулем, нас занесло, закружило, санки скользнули мимо, а длинный кузов машины со всего маху врезался в деревянную лестницу, пристроенную к дому и ведущую на второй этаж. Раздался грохот, кузов стал быстро наполняться рухнувшими столбами и досками, меня треснуло по спине чем-то увесистым, а слетевшее с верхней площадки мусорное ведро, перевернувшись в воздухе, ловко село на голову нашего сопровождающего, по плечи накрыв его вкупе с буденовкой. Ревел мотор, с грохотом рушилась лестница, орали лишившиеся ее жильцы второго этажа, а перепуганный сопровождающий вертел во все стороны ведром, продолжая двумя руками изо всех сил держаться за рамку ветрового стекла...

С того дня прошло более шести десятков лет, а я и до сего дня отчетливо вижу эту чаплинскую сцену. А когда смотрю фильм «Александр Невский», не могу удержаться от смеха при виде псов-рыцарей. Уж очень они напоминают мне спуск на нашем «англичанине», удар о лестницу и ведро на голове у добродушного сопровождающего...

* * *

Хочется рассказать и еще одну историю. О людях тех тяжелейших времен России. Времен страха, мора, голода и отчаянной борьбы за жизнь.

В суровую зиму начала 20-х, когда я еще не родился, но уже существовал, отца во главе летучего отряда бросили на уничтожение крупной банды, терроризировавшей Рославльский уезд. Он гонялся за бандитами по немереным, заснеженным, окончательно одичавшим за девять лет непрерывной войны смоленским лесам, а мама мерзла в насквозь продуваемом домишке, потому что сожгла все заборы и вообще все, что могло согреть. Но ни мама, ни бабушка никому об этом не говорили не только потому, что жаловаться неприлично, но и потому, что все вокруг переживали те же беды. И терпеливо ждали отцовского возвращения, когда в один прекрасный день два заиндевевших битюга подвезли двое саней, ломившихся от мерзлых бревен. И два ломовика, два закадычных друга Кузьма Мойшес и Тойво Лахонен по собственной инициативе и совершенно бесплатно согрели нас всех. Маму, бабушку, Галю, отсутствующего отца и меня, еще не родившегося, на всю жизнь разом.

Мама рассказала об этом подарке отцу, как только он переступил порог. Отец, не сняв шинели, взял две пачки чая – единственный подарок, который он привез семье из всех своих перестрелок и атак – и пошел к тете Двойре, матери веселого и отчаянного забулдыги Кузьки. И с той поры, встречаясь с отцом, Кузьма улыбался и подмигивал:

– Как чай дрова, Лева. Как чай!

Сейчас эта фраза вряд ли понятна, но во времена, когда к стоимости вещей добавляется теплота дружеского участия, дрова могут оказаться, как чай, а чай – как дрова. Как же это далеко от холодного торгашеского расчета с прищуром: ты – мне, я – тебе. Будто все происходило на другой планете... А может быть, и впрямь – на другой?.. Уже канувшей в Лету...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.